

В разных изданиях я опубликовал серию забавных случаев из жизни писателей — «Звездная пыль». Стали приходить читательские отклики. Фазиль Искандер, человек и писатель с уникальным чувством юмора, в целом одобрил этот забавный жанр, причем, как и серьезный писатель Владимир Максимов. Виктор Астафьев написал мне, что читал мои байки «с разными чувствами, случается, и с неловкими». Он прислал мне свою «затею», сопроводив текст коротким письмом:

«Боря! Вот, значит, как и где было то, что ты мельком слышал. Из деревни уезжаю, с почтой тороплюсь — приезжает свояк с внуком, подамся в тайгу. Здоров будь! Клянюсь — В. Астафьев».

12 августа 1993 г.
с. Овсянка.
Борис Никитин.

Да, одна такая минута может решить судьбу и творческую жизнь. Несмотря на якобы победивший социализм и нового человека под названием «советский», все же на Руси Великой оставались еще признаки чисто российской породы или разноманной человеческой сущности, по которой различаются татары от мордвы, коми-пермяки от удмуртов, эвенки от башкир. Сами русские меж собой — по говору: вятскому, рязанскому, вологодскому, псковскому. Как ни убивали борцы за светлое будущее душу в человеке, как ее ни размалывали на жерновах передовой индустрии, все же кое-где в людях осталась живая душа. И настолько оказалась живуча индивидуальность русичей, что не только друг над другом, но и над собой еще шутили вятские, скопские, пермяцкие, нижегородские, чудские, забайкальские, и не только под одеялом с женой или в компании хмельной — в частушке, в побасенке, анекдоте, но и в пьесе, повести и рассказе...

Народная память оказалась крепче новых прививок массовой пропаганды — этой безбужной вакцины под названием передовая советская мораль. Пятна, отметины от прививок, как от оспы, остались, но не столько на теле, сколько в сознании, однако в смертельную болезнь передовая-то мораль все же не оборотилась, хотя и звалась непримиримой, всепобеждающей. Но это утвердительное заключение относится все же к народам, исторически сложившимся, укрепленным верой в Бога и в творческий труд. Духовные русские люди, по прозвищу пусть и советские, оказались устойчивее, жизнеспособнее, чем людское перекати-поле, которое без укрепа и веры, без привязанности к дому, труду, семье ныне свалилось в городские подворотни, в вокзальные и городские клоаки, позлезало в подвалы, на чердаки, в мусорные норы...

Но... не были в стране советов земли и края, прежде всего сибирские и дальневосточные, к которым отношение выработалось особое, поучительное, порой и благоговейное. Считалось, что там-то вот вывелся новый, еще невиданный человек героически — романтичного склада, живут там все дружно, с песней работают вдохновенно бесстрашные землепроходцы, строители дорог и промышленных гигантов, шахтеры, рудокопы, мореплаватели, труженики моря — рыбаки, охотники, поэты, песельники и просто нестигаемые люди, что они успешно и доказали в войну. Книжки, фильмы, спектакли, песни, поэмы, радио- и телепередачи из всех творческих сил закрепляли этот героический образ романтиков и творцов, заселивших земли по-за Уралом. Все новые и новые поколения молодежи устремлялись в Сибирь и на Дальний Восток, и не только за удачей, заработком, но прежде всего за укрепой жизни. Однако ж вот какая особенность — мы вроде бы не видели или делали вид, что не зрим: туда, в Сибирь — дальневосточные палестины не столько сами ехали, сколь на ударные комсомольские стройки вербовали, везли.

Вот и я приехал во Владивосток. Давно мечтал. Долго братья писатели звали меня. Наконец-то собрался, жену подбок, вечером на самолет, утром уже в гостинице на берегу Золотой бухты. Нет, нет, это не путевые дневники, даже не меты памяти, как сейчас модно этак вот, простецки, по-народному именовать всевозможные записки путешествующих или где-то в экзотически-заманчивых местах отдыхающих богатых наших сограждан.

Этот рассказ об одной встрече с чита-

телями во Владивостоке, даже и не о самой встрече, а об одной минуте, на ней случившейся.

Друзья-дальневосточники, пригласившие меня, особо не мучили меня выступлениями, показываниями всевозможных достижений, и даже как-то они так изловчились сделать, что пути мои с местным начальством не пересекались. Может, оттого, что катилась за мной молва: «не выдержан на языке», и, значит, при встрече с руководством могут выделиться разногласия, а творческой интеллигенции, хотя ее во Владивостоке кот наплакал, в первую голову писательской организации, и без

Одна МИНУТА ЗАТЕСЬ

того жилось нелегко. «Сам все увидишь и сообразишь», — рекли мне мои помощники...

Да и как не увидеть! Поперек бухты лежит на боку огромная ржавая туша ободранного и обогранного корабля — утоплен по пьянке. Ах ты батюшки! Куда глазом ни поведешь — все красиво, все неповторимо: природа, океан, небо, сопки, голубая бухта, но обязательно, как везде и всюду по Руси советской, брошенная людьми техника, человеческий мусор, грязь, все спуска рукава строенное, слепленное, собранное. В отеле европейского фасона и с европейскими претензиями — тучи тараканов. «А у нас их не выведешь — на кораблях приплывають!» — сыро, затхло, запущенно все, в ресторане полхлеба из хека, на закуску три пластинки вымокшего огурца, и среди них одинокая шпротина без головы и хвоста, словно кто-то уже ел.

До чего же надоело-то все! Только-только вот был в Мурманске — экая даль, экое пространство-то, не глазом, даже умом не вдруг охватишь — космическое расстояние! — но и в Мурманске то же самое убожество, та же самая еда, вода, мораль, лозунги, прославляющие деяния и подвиги советского человека и неуспешно о нем хлопочущей мамы — партии. Устал все в теле, в душе, не глядели бы глаза на этакую прославляемую жизнь.

Заранее, еще до приезда моего, было обговорено, что одна встреча с читателями-дальневосточниками (в Доме моряка) непременно, она давно объявлена, народ ждет.

Ну, ждет не ждет народ, обещал — надо встречаться. Нагладил меня жена, галстук на шее модный затянула, отрянула, оглядела — вперед. К Дому моряка нас подвезли на черной крайкомовской «Волге». Дама, вроде как заведующая отделом культуры крайкома, с прической, несколько вольной, отбеленной, волной катящейся по голове, в строгом нарядном одеянии под локоток нас с супругой ведет, говорит, чтоб мы не волновались — все будет хорошо. И на этой же машине нас после выступления доставят в отель. «Непременно — непременно!» — частила дама и увела мою супругу в зал, мне же путь лежал на сцену. На сцене, как водится, столик, на нем букетик цветов, бутылка воды, слава богу, минеральной.

Я поклонился залу. Он был переполнен,

В зале полторы тысячи мест, но и возле стен стояли и сидели на принесенных стульях чего-то ждущие люди.

Пока шло объявление о встрече, я безотрывно смотрел в тесно заполненный зал. Бросилось в глаза, что люди не просто нарядно, со вкусом, но и богато одеты. У большинства женщин только что сооруженные модные прически, золотишко, драгоценности мелькают — несравнимо, допустим, с вологодской, простенькой, доверчивой, много читающей, бедновато живущей публикой. Что же они собрались? Чего от меня ждут?

Я не артист, не певец и даже не гитарист, всего лишь русский прозаик, в Сибири родившийся, на Урале в писатели крестившийся. Что я могу сделать? Чем могу им помочь? Чем разрешить их давние мучительные ожидания? Ах, какое чувство смятения и неразрешимой тяжести всегда ложится на сердце, когда один предстаешь перед публикой, свято верящей в слово и совершенно убежденной, что уж кто-то, но писатель знает истину, откроет ее им — и все сразу разрешится, все станет понятно: куда идти и с кем, где точный путь к лучшей, мо-

Виктор АСТАФЬЕВ

жет, даже и праведной жизни...

А не врать, не увильнуть, не опутывать доверчивых людей паутиной демагогии. Нельзя, не можно ловчить перед более чем полтора тысячью людей, уставших от неправды, от фардака, называемого советской жизнью. Я зарешил — если не утешу людей, так хотя бы не правдой не оскорблю. Лишенные веры в бога и духовного общения, обездоленные люди, не сговариваясь, сделали из советского писателя духовника — проповедника и ждут, и требуют от него точных ответов и указаний: как жить? В какой стороне свет и счастье — указки! Раз согласился на эту работу, принял на себя эту роль — соответствуй!

Встреча длилась три часа. Для начала, помнится, я рассказал о судьбе бабушки командира 17-й армидивизии, в которой довелось мне воевать.

Восемнадцатилетней девушкой Людмила Михайловна Александрова вместе с такими же, как она, неустрашимыми русскими народниками участвовала в покушении на харьковского губернатора, была приговорена к смертной казни, которую в последний момент заменили Шлиссельбургской крепостью, где она в одной камере с Верой Фигнер пробыла тринадцать лет, и потом через Одессу выслана была на Сахалин. Следом за ней на Сахалин приехал ее муж и привез с собой полторагодовалого внука, будущего командира дивизии, в которой я повоевал рядовым бойцом.

Через какое-то время ссыльной Александровой — Волкинштейн разрешено было с мужем и внуком переехать на материк, поселиться во Владивостоке и работать врачом, где она была убита в 1905 году выстрелом в затылок во время демонстрации протеста против жестокостей царского самодержавия.

Затравка беседе была задана любопытная, народ проникся ко мне доверием и засыпал вопросами, устными, но больше письменными, которые в основе своей содержали один и тот же злободневный вопрос: «Как дальше жить?». Иногда сразу и с ответом: «Так дальше жить нельзя!».

Преодолев волнение, почувствовав родство аудитории, я разошелся в беседе и, вероятно, наговорил много непривычного для этого моряцкого дома, города и аудитории. Самое неожиданное и даже страшное, что я вслух называл среди ве-

ликих современных писателей Солженицына, отлично сознавая, что в зале не одни просоленные моряки и моряцкие жены, но и в крепком, кагэбешном тузлуке вымоченные литературоведы в штатском. Были просто люди, для которых что Иван Андреевич Крылов, что Александр Исаевич Солженицын — одинаково ценные писатели, были и те, для которых русская литература, тем более великие русские писатели, перевелись еще в девятнадцатом веке.

В зале свершилось колышание, кто-то на кого-то цыкнул, кто-то даже захопал, поток записок возрос. Посмотрев на часы, я сказал, что очень устал, ответить на все вопросы не в состоянии, выберу самые-самые, отвечу на них и на этом беседе закончим.

На страничке, вырванной из блокнота, каллиграфическим почерком, красиво и вкрадчиво, спрашивали: «Почему вы не состоите в коммунистической партии?».

Я зачитал вопрос, обвел тесно заполненный зал зрячим глазом и не очень громко, но так, чтобы всем было слышно, молвил: «Не хочу!».

Вот тогда и наступила та самая минута. Зал погрузился в гробовое молчание. Зал был ошарашен. Зал ожидал, что я отшучусь, увильну, спрячусь за давно проверенную, ловкую и привычно — трусливую демагогию: «Не созрел...».

Вот такие-то вот минуты для неокрепшего разума и слабого сердца всегда губительны. Глядя на трусливо примолкших моряков, романтиков — строителей, эзков, отбывавших срок, возможно, и не один, можно сорваться, впасть в неистовство, плюнуть, сказать, что все вы — говно, или двинуться с копьем на машущие сгнившими крыльями, перемалывающие словесную мякину большевистские мельницы, и на весь скот, вокруг мельниц па-сущийся.

Я уже многие годы прожил в этом передовом, советском обществе, знал его навыки и не без ехидства поинтересовался: «Ответ понятен, надеюсь?».

В зале зашевелились, загудели, жидкий аплодисмент разнесся. Женщина из крайкома, сидевшая на первом ряду, мотнув волной прически, метнулась в боковую дверь.

Потом было много цветов, особенно роз — осень на дворе стояла нарядная и такая яркая, какие только на Дальнем Востоке и бывают. Сухонья старая женщина с благородным, прекрасным лицом (такая, наверное, была бабушка моего командира дивизии — мелькнуло в моей голове) пыталась целовать мне руки: «Спасибо! Спасибо! Спасибо!».

И какие-то люди, вбивая меня в окончательное смущение, толклись вокруг, благодарили, пожимали руки. Нашлись и те, что вроде бы снисходительно, но пряча глаза, отчески журили меня: «Очень уж вы откровенны, а они — злопаятны...».

Машина — черная «Волга» — нам с супругой на обратный путь предоставлена не была.

Из Владивостока, вослед мне и через меня, то есть через Сибирь, в Москву полетели доносы и «отчеты» о моем выступлении. В одном из доносов опытный лепило-сексот сообщал, что, назвав великими писателями современности Маркеса, Шолохова и Солженицына, я и себя к ним приплюсовал.

Грубо, кляузно, зато по-партийному принципиально и нагло. Сейчас так пишут в «Дне», в «Советской России» и в провинциальных газетенках подражающих. Все вместе справедливо было бы эти утильные листки называть «Подворотня». В «Подворотне» той таякает москья, вялая сношенным хвостом, скалит зубы, изношенные на лживом лае и патристическом скулеже о прошедшей «замечательной» жизни. Для москьи и была та жизнь и в самом деле завидная: отдельная конура, перед конурой в старой гнущей миске кость с барского партийного стола, каша без масла, украденная из казенного, эзковского или детсадовского котла, зато до краев полная — лижи, брещи, радуйся и не забывай вовремя поджимать хвост.